

СОДЕРЖАНИЕ

Детство	6
Школа	15
Дача	18
Год 1939-й	23
Техникум	28
Война	35
Северо-Западный фронт	49
Артиллерийское училище	57
Фронтная фотография	69
Цена солдатской жизни	74
Госпиталь	79
Эшелон	82
О победе	90
Первые месяцы мира	97
«Прошу считать меня...»	105
Демобилизация	113
Не судите, да не судимы будете...	121
Переживший свое время	132
Навеки — девятнадцатилетние	140
«Штрихи к блокадному пейзажу»	147
Таганка	154
Лакшин	171
Не отошедшие от войны	185
«Черные камни»	200
Мир входящему	210
Интервью	213

ДЕТСТВО

Из нынешнего дня в прошлое смотришь как в перевернутый бинокль: все такое уменьшенное, а многое и не разобрать. Но вот вижу: зима, мороз, снежная улица. Пробежала, пофыркивая паром из ноздрей, по-зимнему лохматая лошаденка, мужик в санях в сене стоит на коленях, похлестывает вожжами. А вдоль домов, больше — деревянных, идет, оглядывается на себя в стекла... Да, это я иду. Кирзовые голенища только что выданных мне сапог полощутся на ногах, шинель перетянута ремнем, и там, под ремнем, больше складок суконных, чем меня самого. Зато ушанка набекрень. Старушка в платке шла навстречу, остановилась: «Господи, и таких уже берут...» И вытерла глаза варежкой.

Это для меня тогдашнего — старушка, а была она чья-то мать. И когда читаю или слышу «Родина-мать», я вижу ее, а не ту, яростную с плаката времен войны: платок головной откинут на плечи, рука с растопыренной пятерней призывно взметнулась вверх, — «Родина-мать зовет!». И всегда вижу мою мать. Она не провожала нас на фронт, ни Юру, старшего, ни меня: ее уже не было на свете. Но и сейчас, когда я почти вдвое старше ее, она для меня — мама...

Ей было двадцать восемь лет, когда родился Юра. Он был похож на нее и, значит должен был быть счастливым. Я, родившийся через два года, лицом в отца, а на-

звали меня так же, как звали деда. В двадцать втором году, за год до моего рождения, он зачем-то поехал в Москву и там был сбит машиной, хотя машин тогда в Москве было по пальцам перечесть, а шоферам такси, как рассказывают, шили кожаные куртки как людям редкой и опасной профессии. Но повезли деда не в больницу, а прежде всего в милицию, выяснять обстоятельства, и до больницы уже не довезли. Мне дали его имя, и я теперь как бы продлеваю его жизнь.

Мир был теплым, уютным и незыблемым, пока жива была мама. А как жила она, я не знаю, но, сопоставляя, могу о многом догадываться. Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего будущего отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг — неведомо за кого. Никто в Воронеже не знал отца, он был здесь, как говорится, пришлый. И профессии у него надежной, в общем-то, не было, только хорошая голова на плечах. Но этого, сами понимаете, мало, чтобы отдать за него дочь с высшим образованием.

Как все в жизни, в этой нескончаемой цепи, протянувшейся к нам из неведомой дали и уходящей в еще более неведомое будущее, — как в ней все связано: по сути дела, решалось и то, о чем вовсе не думали — быть ли моим детям, моим внукам и внучке или не быть. В этот момент решалось. И мама решила: быть. Она вышла замуж за отца, это отдалило ее от семьи. И сегодня взрослые мои дети, внуки, внучка вряд ли улавливают эту связь времен, не догадываются, когда завязывались их жизни и что от этого зависело. Но это — по моей линии. А есть и линия моей жены. Там тоже все решало одно слово. Моя будущая теща была на шесть лет старше моего будущего тестя, и все могло не состояться: она была красавица с двумя длинными

косами, а он даже ниже ее ростом. Но он стал перед ней на колени. Недавно мы говорили с Эллоу, с моей женой, о нашей внучке, и жена вдруг сказала: «Как хорошо, что папа тогда стал на колени...» Мой отец никогда ни перед кем, ни перед чем на колени не способен был стать, а таких, кто не гнется, наша жизнь ломала. Потому недолго прожил он на свете, всего сорок лет, и моя мама много приняла с ним муки.

Но вот — зимний день. Мне пять или шесть лет, в доме натоплено, от кафельной печи пышет теплом, за окном мороз, и хорошо из тепла смотреть в окно на белую от снега улицу. В легких, скользящих саночках проносятся извозчики, покрякивая: «Ей, ей!..» В простоте душевной я думал, что это они так божатся: «Ей, ей...» Но хотелось мне быть ломовым извозчиком. Летом в телегах, грохочущих по булыжнику, они едут с базара, и огромные битюги ступают впереди телег своими мохнатыми ногами. А извозчик в брезентовом фартуке сидит в телеге, свесив ноги, подергивает вожжами. Вот и я хочу так сидеть, свесив сапоги над колесом, подергивать ремнями вожжами: «Нно-о!» Или зимой, когда от битюгов валит пар, повалиться боком в сено в санях. Я срочно зову маму: вот такого битюга вы мне купите, когда я вырасту... Даже во втором классе я все еще мечтал быть ломовым извозчиком, и мой одноклассник попользовался этим, за что я, впрочем, на него не в обиде: он пообещал мне добыть настоящий конский хвост, из которого я сплету волосяной кнут, потому что какой же ломовой извозчик без такого кнута? А пока что я относил ему все, что он требовал. Особенно жаль было мне отдавать мой молоток: я еще и плотником хотел быть. Запах свежего дерева, запах стружек — я мог часами стоять и смотреть, как вьется над

рубанком смолистая стружка, кольцами катится под верстак. Но делать нечего, отдал и молоток. Наконец он повел меня в проходной двор, у поленницы дров сказал, озираясь: здесь! Мы чуть не до земли раскидали чьи-то дрова. Он честно работал со мной вместе. Тут нас заметили, с криками погнались за нами, но я еще долго верил, что он действительно спрятал там конский хвост, я просто не мог ему не верить.

* * *

Мне было одиннадцать лет, когда спасали челюскинцев, пассажиров и команду затертого во льдах парохода «Челюскин». Предварительно они сняли с дрейфующей льдины полярную станцию Отто Юльевича Шмидта, и вот теперь вместе погибали: пароход тонул, они спешно выгружались на лед. Спасли их летчики. Ляпидевский, Леваневский, Водопьянов, Молоков, Каманин, Доронин, Слепнев — эти полузабытые ныне имена полярных летчиков гремели, их знали все. Для них, первых, ввели звание Героя Советского Союза. И многие мальчишки того времени мечтали стать полярными летчиками, я — в том числе. По радио пели величаво-протяжно: «Дрейфующей льдиной зате-ор-тый, отважный «Челюскин» погиб...» И о спасателях — поименно: «Там был Михаил Водопьянов, Каманин, Доронин, Слепнев...» Это — по радио, телевидения еще не было. А по дворам — на мотив блатной «Мурки»: «Здравствуй, Ляпидевский, здравствуй, Леваневский, / Здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай, / Вы-то потопили пароход «Челюскин», / А теперь кричите — вас спасай...»

Но что бы там ни пели по дворам, это был подвиг и всенародное торжество, сравнимое разве что со встречей Юрия Гагарина. Кинохроника запечатлела, как торжество-

вала Москва, как чествовали героев. Случайно ли это? Не так давно прошла коллективизация, следом — голодомор, когда на Украине, на Кубани, в центральных черноземных областях вымирали целыми деревнями, селами. Сколько погибло тогда людских жизней — бог весть, вряд ли это узнается когда-либо, но считают сейчас, что вымерло от голода не менее семи миллионов человек. А хлеб между тем везли за границу, покупали станки... После всего этого стране нужен был праздник, небывалое торжество, которое способно было многое стереть из памяти.

Недавно я разговаривал с пожилым человеком, который в ту пору был ребенком, но ребенком одного из высокопоставленных людей, имевших прямое отношение к челяуской эпопее. И он рассказывал, как его и еще нескольких мальчиков повезли отдыхать в Форос и как на степных станциях стучались в вагоны опухшие от голода дети, а другие уже не могли идти, в последней надежде ползли к железной дороге.

В Форосе вкусно, хорошо кормили.

Ни в детстве, ни в школьные годы я не писал стихов, хотя многие мои сверстники переболели этим, как болеют корью в определенном возрасте. Впрочем, и в дальнейшем поэзия не потерпела от меня никакого ущерба. Наверное, я инстинктивно чувствовал то, что Толстой определил словами «идет мужик за сохой и приплясывает...» Но в пятом или в четвертом классе прочел я роман Степана Злобина «Салават Юлаев», и мне тоже захотелось написать что-то подобное. И написал: «Мы сидели у дороги и ели бешбармак». Ни у какой дороги я не сидел и что такое бешбармак, понятия не имел. На этой первой фразе все благополучно закончилось на многие годы. Но даже к слову «писатель» я относился как к чуду из чудес. У отца

была большая библиотека, тяжелые тома: Шекспир, Шиллер, кожаные с золотом корешки, картинки, прикрытые тонкой полупрозрачной бумагой. Разумеется, были и в Воронеже писатели, давно когда-то были: Никитин, Кольцов (про Платонова, Мандельштама, Замятина слыхом не слыхивали). Был в Воронеже даже Кольцовский сквер, и девиц, что там шивались, называли «кольцовские», смысл этого — вполне определенный. А встретить живого писателя наяву для меня, наверное, было равносильно тому, что встретить живого Гоголя.

Французы говорят: коза щиплет траву там, где она привязана. Видимо, по этой причине дети нередко наследуют профессии отцов, даже не имея к тому большой склонности. В моей родословной, известной мне, как-то не проглядывается ни колышка, ни обрывка той привязи. Впрочем, это не значит, что их нет. А вот рассказывать я любил. В то время ходили по рукам тоненькие бумажные книжки — не книжки, так, что-то подобное: яркие глянцевые обложки, на них изображено нечто злодейское. Прочел я их несметное множество и любил рассказывать ребятам во дворе: и то, что прочел, и то, что по ходу рассказа придумывалось. Ребята просили, собравшись, да и меня самого просто распирало. Но вот на фронте этого желания у меня не стало, разве что в долгой обороне или когда отведут в тыл и случится хорошее застолье. Свидетельство тому — фотография нашего комбата Филиппова, подаренная на память, надпись на ней, где среди прочего он упомянул: «...и твои смешные рассказы». Значит — было. Нас тогда отвели с фронта, стояли мы в деревне, в тылу: ремонтировали тракторы, то есть из одного нашего трактора и трех-четырех брошенных после немецкой оккупации на дворе бывшей МТС (машинно-трактор-

ной станции) собирали один годный. И шла через деревню санинструктор какого-то другого полка. А у нас банька истоплена, это же на фронте раз в жизни бывает, если бывает вообще. Самогону нагнали. Она тоже попарилась, жаловалась: голова болит. Болит не болит, комбат на это не посмотрел. И заразился от нее совсем не тем, чем случается заразиться в подобных обстоятельствах: заразился он сыпным тифом — первый и последний случай за всю войну в нашем полку. Его увезли в госпиталь, и больше мы его не видели. А фотография его у меня как свидетельство. Но все-таки больше я любил на фронте не рассказывать, а слушать. Самое сокровенное рассказывали перед боем, словно почувствовал человек, что бой этот для него последний. А может, и правда почувствовал. Мне, случилось по виду, по лицу определить, что вот его нынче убьют. И сбывалось.

* * *

Отец мой, Яков Минаевич Фридман, происходил из бедной многодетной семьи, он рано ушел из дому, начав работать с двенадцати лет. Всему, что он умел и знал, он выучился сам. Но за сорок лет своей скоротечной жизни прочел несметное количество книг.

Вижу: вечер, отец ходит из угла в угол, насвистывает арию Каварадосси. Задумавшись, он всегда насвистывал эту арию. О чем он думал? Я был мал и глуп, не о чем ему было со мной разговаривать

Отец умер, когда мне было десять лет, Юре — двенадцать. Мама, зубной врач, работала на конфетной фабрике в здравпункте. Слово это звучало тогда обычно, привычно: здравпункт. Что она там получала, можно себе представить. Но нам жилось хорошо и вольно: мама целый день

на работе. Она приносила с фабрики подсолнуховые семечки, очищенные от шелухи, мы ели их горстями, угощали ребят во дворе. Приносила мутноватый кисель, им, помимо прямого назначения, хорошо было клеить танки из бумаги: тогда одолело нас повальное увлечение — играли в солдатики. Мне досталась японская армия: все хорошие армии — русская, английская, французская — были уже разобраны, и мне досталась японская. Но зато мои солдатики были меньше ростом, в них трудней было попасть из трубочки, и я выигрывал многие бои. И остался у меня в памяти с тех пор запах пеклеванного хлеба, такой только в Воронеже до войны пекли, больше нигде не встречал: круглые хлебы, верхняя корка, как обливная, разрежешь, а он ноздреватый, будто сыроватый чуть-чуть. И если вдруг с маслом да посолить...

Жили мы на Плехановской улице в шлакобетонном доме, он так и назывался: шлакобетонный. Маме от фабрики дали там комнату на втором этаже, над аркой; зимой пол в комнате был холодный, помню это хорошо, потому что на полу мы с ребятами играли в солдатики. Прежде здесь помещалась какая-то контора; когда мы въехали, пахло окурками, чернильные пятна на полу, а стены на уровне спин сидящих людей затерты до черноты. Со временем мама решила сделать ремонт. Нанять маляра было дорого, и вдвоем с помощницей мама белила потолок, красила стены клеевой краской, выбегала на улицу вытрясать вещи, раздетая, потная, и простыла: стояла холодный ноябрь. Я вижу шею ее, худые ключицы, слышу, как она дышала. Рука мамина горячая поверх одеяла. Когда я заболел, она гладила меня по голове, по лицу, и все проходило. Мама сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Потом — отек легких. Вот тогда впервые в жизни

я молился: в темной кухне, стоя на коленях, прижавшись лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки. Мама сгорела за шесть дней. Нас взяли к себе ее сестры: Юру взяла Мария Григорьевна. У нее две дочери, младшая, Юдя, его ровесница. Меня взяла Берта Григорьевна. У нее тоже было двое детей: сын — старший, ровесник моего брата и тоже Юра, дочь — моя ровесница и тоже Юдя. В нашей когда-то многолюдной семье имена часто переходили по наследству, и сестры не случайно назвали своих дочерей одним и тем же именем: так звали их рано умершую сестру — Юдя, Юдифь. В девятнадцатом году грипп «испанка» выкосил, как считают, двадцать пять миллионов человек. Она поехала менять вещи на хлеб и заболела этим гриппом.

ШКОЛА

Я еще застал в школе старых учителей. Антаева преподавала математику, она говорила мне: «Ты по математике успевать не будешь, я учила твою маму, она тоже у меня по математике не успевала...» И действительно, контрольные работы я, как правило, списывал, чаще всего у моей одноклассницы. О ней мой рассказ «Надя» из серии невыдуманных рассказов, изменено только имя.

Спустя много лет после войны попал ко мне старинный альбом. На крепком коленкоровом переплете — тиснение: «Выпуск Воронежской Мариинской женской гимназии 1909-10 г. Фото — Ясвоинь». Виды старого Воронежа, теперь его уже нет, он был разрушен в войну, как Сталинград. Здание гимназии. Благородный директор с бородой, похожий скорее на директора банка. Учителя. Антаева среди них. А имени-отчества ее не помню. В овальных рамках — фотографии выпускниц: Никитина, Небольсина, Скрябина, Филиппова, Егорова. А вот фамилии, которые я никогда больше не встречал: Аддиванкина, Сацердотова, Ободынская. И — фотография моей мамы. Такой она была в девичестве, когда окончила гимназию: стоячий с белым кружевом воротничок, черный бант на затылке. А впереди — вся неведомая, непредсказуемая жизнь. И в эту неведомую жизнь, в XX век, напутствие вытиснено на обложке альбома: «Благодатна всякая буря душе молодой. Зреет и крепнет душа под грозой». Могли ли они предви-

дети, какие бури грядут, что зреет? Старое доброе мирное время... Так говорили в Воронеже о том минувшем времени — до всех войн, до революции. Шкуро, Буденный. Белые, красные. Воронеж переходил из рук в руки. Когда кто-то с кем-то сражается, несчастней, беззащитней всех мирные жители, обыватели. «Белые придут — грабят, красные придут — то же самое...»

Да если б только грабили. А то и жизнь выдернут вместе с потрохами, голову смахнут с плеч и не оглянутся. На войне нет хороших, кто был хорошим, озверел: такое это зверское дело. Он курицы зарезать не может, сердце доброе, а человека убить для него ничто. Но нам, мальчишкам, все мнилось скакать, махать шашкой, Чапаев в бурке за плечами скакал перед глазами у нас. Об одном жалели: опоздали родиться, все главное уже совершено до нас. И это каким-то странным образом уживалось с тем, что я любил Чехова, Шолом-Алейхема, прочел и как будто понял «Преступление и наказание». Но самой любимой моей книгой, самой дорогой для меня был «Хаджи Мурат» Толстого: синий с серебром переплет, запах коленкора, не помню, сколько раз перечитывал ее. Книгу эту подарили мне ко дню рождения, когда еще мама была жива.

Есть у Чехова рассказ «Сирена». После заседания судьи собрались в совещательной комнате, закончить дела да и ехать домой обедать. И тут, в предвкушении, секретарь суда начинает рассказывать, что и как следует есть и чем после первой рюмки закусывать. И, побросав дела, все разъехались по домам. Вот так однажды после уроков (а учились мы во вторую смену) я испытал «силу слова». Шли мы вечером гурьбой по Воронежу, то одного прово-

дим, потом он провожает нас, проводим другого, опять он всех провожает, и никак не можем расстаться. А мне надо домой, да и есть хочется. Тогда я начал рассказывать про блины. И произошло то же самое, что в рассказе «Сирена». Я еще удерживал, торжествуя: обождите, я недосказал!.. Разбежались все.

ДАЧА

Мне было четырнадцать лет, когда мне поручили снять дачу на лето. Как пришла такая мысль взрослым, не могу сказать, но мне дали деньги, чтобы я снял дачу и оставил задаток. И я поехал на поезде в Сосновку. Сосновка, Дубовка, Графская — все это под Воронежем. В Сосновке на песчаной почве росли корабельные сосны. В Дубовке — дубы. Но таких дубов, как под Задонском — нет, не раскидистых, а прямых, стройных, — таких я не видел нигде. В свое время Петр I строил здесь флот, за двести лет после него выросли новые леса, но было кому их проредить.

Самое интересное, что и хозяин дачи всерьез разговаривал со мной, показал две комнаты с террасой. «На террасе, возле конопляника...» Скольким поколениям диктовали этот пример по грамматике, и надо было не ошибиться, знать, где пишут два «р», где одно «н»... Мы обо всем договорились с хозяином, я оставил ему задаток. На станции, пока ждали поезда, мужчины стояли в очереди в буфет. Красное вино было разливное, у вина было два названия: белое и красное. Белое — водка. Я тоже стал в очередь, очень опасался, что буфетчица прогонит меня с позором. Но нет, налила мне полстакана красного вина, не прогнала. Я выпил, будто мне это дело привычное. Вино было кислое, радости я не испытал, но почувствовал себя взрослым: сделал дело и выпил как полагается.

Почему я помню, что было мне четырнадцать лет? Потому что в газетах в то время печатали сообщения о процессах, фамилии подсудимых, гневные отклики трудящихся, требовавших раздавить гадину: был 37-й год. Но это шло мимо меня. Родителей у меня не было, от такого испытания судьба уберегла их.

Вот туда, на дачу, когда все съехали осенью, а я еще остался на день-два сторожить вещи, приехал ко мне мой старший брат Юра: наверное, пожалел меня, что я тут один. И зашел у нас разговор о процессах, об этих судилищах. Разница между нами была два года, но Юра был старше своих шестнадцати лет, он многое понимал. И попытался объяснить мне, что происходит. А я вдруг вспыхнул дозволенным гневом, гневом раба, я уже впитал это из отравленного воздуха, которым мы дышали:

— Случись война, ты на фронт не пойдешь. Такие, как ты, не идут умирать за родину.

Это — брату родному, единственному.

В Московском государственном университете, на историческом факультете, где он проучился всего один год, — мраморная доска, имена тех, кто погиб в Отечественную войну. Там его имя: Юрий Яковлевич Фридман. В мирное время его не взяли в армию, хотя после позорной финской войны хватали и калечного и увечного: кончил школу — будь добр. Но он почти не видел одним глазом, запойную страсть к чтению он унаследовал от отца и основательно испортил зрение. Началась Отечественная война, он пошел в ополчение, был командиром орудия, 75-миллиметрового французского орудия времен Первой мировой войны: ополченцев вооружали последним, что оставалось, на такую войну они шли фактически безоружными. Два или три письма получил я от него с фронта, в дальнейшем